

Первые ходы

— Миша, что делаешь?

Я не слышал вопроса — писал пьесу.

Шел мне десятый год; к тому времени я уже приобрел у букинистов Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева. Книги были дешевые (деньги дала мама). Читал я в белые ночи, тогда и испортил зрение, стал носить очки. Потом посмотрел в Большом драматическом «Дон Карлоса» и решил стать драматургом.

— Миша, что делаешь?

Тут я вернулся в реальный мир и увидел Юлия Павловича, мужа моей двоюродной сестры Саши. Объясняю, что пишу первое действие; явление первое (король, первый придворный, второй придворный) уже написано; во втором явлении прибавился третий придворный, а вот что дальше — не знаю...

— Не знаешь,— сказал Юлий Павлович,— не пиши!

Так я и не стал писателем — незаконченное первое действие была уничтожено. Ко дню рождения Юлий Павлович подарил мне «Войну и мир». Парнишка я, вероятно, был неплохой, учился легко и самостоятельно; насколько помню, отец порол меня лишь один раз. Был он зубным техником и при изготовлении вставных зубов применял американский материал стене. И вот Леня Баскин, приятель моего брата Иси (брат был на 3 года старше — он погиб в сентябре сорок первого под Ленинградом), обратился ко мне с просьбой: не стащу ли я пачку стенса?

Я был настолько польщен оказанным доверием, что не смог отказать Лене.

Отец, конечно, заметил пропажу. Я отрицал все, но это не помогло. Навсегда запомнил я унижительную процедуру: и комнату, где это происходило, и как отец меня держал, и мой рев... Видимо, папа понял, что нельзя было сказать правды — я подвел бы Леньку,— и отпустил воришку. Три года спустя Леня Баскин научил меня играть в шахматы.

Водили нас с братом гулять в Екатерининский садик (жили мы на Невском), потом брат пошел в школу, а я — в детскую группу. Возвращаясь с работы, отец заходил за мной и вел домой. Запомнилось, как однажды зимой шли мы по Невскому, падал густой снег, крупные снежинки все заполонили — медленно опускались на прохожих и на тротуар. Раньше я всегда себя ощущал как бы в пустоте, а тут мне стало тесно и страшновато.

— Папа,— сказал я,— смотри, мы живем в снегу.

Отец только засмеялся... В 1920 году мать заболела, и отец от нас ушел.

До 25 лет отец жил в деревне Кудрищино под Минском, недалеко от Острошицкого городка, где кончил начальную школу; работал у своего отца как батрак. Физической силой обладал недюжинной — хватал за рога самого сильного быка в стаде и валил на землю... И характер у отца был жесткий: когда поссорился с моим дедушкой (не довелось мне его повидать), то уехал

в Минск, где работал в подпольной типографии Бунда. Из-за свинцового отравления потерял зубы и решил стать зубным техником. Переехал в Петербург и поступил учеником к зубному технику Василию Ефремову (Д. В. Ефремов, профессор Политехнического института в Ленинграде, потом был министром электропромышленности — родной его сын). Сдал экзамен, получил диплом и до конца дней своих сидел за верстаком...

Отношения с отцом сохранились самые добрые, он нас опекал и материально помогал, но все же началась новая жизнь.

Я вообразил себя в семье главным и требовал, чтобы мама и брат меня слушались. Сначала они относились к моим претензиям снисходительно, но однажды взбунтовались. Тогда я схватил стакан: «Или по-моему, или стакан разобью». Стакан я в азарте прикончил, но на этом и завершилась тирания младшего сына.

Учились мы с братом далеко, у Финляндского вокзала, в 157-й советской единой трудовой школе, но, по существу, это было Выборгское восьмиклассное коммерческое училище Германа. В 1906 году группа прогрессивных педагогов во главе с П. А. Германом организовала частную школу. Первые три года, пока школа не окрепла, педагоги работали бесплатно. Каждый год отмечалось основание училища, и мне довелось слышать рассказ самого Петра Андреевича о том, как было дано в газету объявление, что в училище будет совместное обучение мальчиков и девочек, но наборщик ошибся, и в газете было напечатано о совместном обучении мальчиков и девочек, о том, как газета исправила ошибку, поместив объявление повторно, и все же на приемные испытания пришел лишь один ученик...

Душою младших классов был Леонид Николаевич Никонов — он преподавал естествознание. Маленького роста (тогда он нам представлялся гигантом), в неизменном длинном сюртуке и с бородой Черномора, он лишь казался строгим... Впоследствии, когда школа была закрыта, Леонид Николаевич стал профессором пединститута в Смоленске.

Литературу преподавала Зинаида Валериановна. Дисциплина на ее уроках была слабая. Особенно бузил Валька Белопольский (брат его Левка потом был на «Челюскине» и оказался тем самым участником экспедиции, который заболел, отведав медвежатины...). «Зиндрьянна», — обращался он к педагогу. Но когда Зинаида Валериановна нам читала, голос ее то звенел, то в нем слышались слезы — в классе была мертвая тишина, все были словно зачарованы, в том числе и Валька... После школы Валька уехал на Север и стал охотником.

Учитель истории Михаил Эммануилович Шайтан, лет двадцати восьми, стройный, черноглазый, носил неизменные синие брюки и френч. Историю знал блестяще, характер имел жесткий, его побаивались. Однажды, рассказывая про Ивана Грозного, он остановился (кажется, я его слушал с открытым ртом), погладил меня по голове и под общий смех сказал: «Какой хороший мальчик Миша Ботвинник...» Вдруг он исчез: девочки шепотом

рассказывали, что он влюбился в одну из дочерей П. А. Германа, но запутался в своих переживаниях и, бедняга, отравился в парке...

Были у нас уроки слушания музыки — в большом зале собиралась вся школа, от мала до велика. Лидия Андреевна сначала рассказывала нам, а затем исполняла. Ей нередко помогали студенты консерватории, певцы и музыканты. Она жила в мире музыки и могла, например, не заметить, что у нее виднеется нижняя юбка; ребята гоготали, Лидия Андреевна это терпела. Польза от ее уроков была несомненна. Она рассказывала нам и о молодом Прокофьеве (тогда на него были гонения со стороны интеллигенции) и яростно его защищала.

Лидия Петровна Трейфельд, видимо, была немка, но скорее всего из Эльзаса. Она превосходно знала немецкий и неплохо французский. На ее уроках мы читали и Гейне, и старинную повесть «Kleider machen Leute» («Платье делает человека»), и разные разности. Она очень переживала наше невежество и, когда Шурка Орлов однажды перевел, что «Le corbeau intelligent» («умная ворона») означает «интеллигентная ворона», чуть не упала в обморок. Была она старая дева, страшно худа, носила парик и старомодное пенсне. Трудно было определить ее возраст — вероятно, около семидесяти. Вид имела престрогий, но доброте ее границ не было. Лидия Петровна была совсем одинока и жила при школе. Говорили, что когда в 1906 году собирали деньги на школу, она пожертвовала львиную долю — все, что было.

Хотя мама часто болела, она неизменно действовала в двух направлениях: чтобы сыновья 1) были сыты и 2) получили образование. Одеты мы были крайне бедно — этим выделялись среди сверстников, а пища была простая — кислые щи (до сих пор я отношусь к ним с нежностью), котлеты либо мясо с морковью. Именно

мать отдала нас в школу на Выборгскую сторону, поскольку ей рекомендовали училище Германа.

Понятно, что, когда тетя Бела (старшая сестра матери) звала нас с братом в гости, мы не отказывались. Жила она на 5-й Роте (ныне 5-я Красноармейская), далековато. Мы одевались поаккуратней и шли, заранее облизываясь: у тети Белы можно было набить животы до отказа всякими вкусными вещами. Однажды я переусердствовал и пострадал. Возвращался пешком (я редко пользовался трамваем; привычка, которую я сознательно отработал во имя общественных интересов в годы военного коммунизма, когда трамвай был бесплатным), и на полпути, у Царскосельского вокзала (ныне Витебский), у меня схватило пузо. Принял решение идти домой. Иду. Прошел Загородный, Владимирский, повернул на Невский. Перешел Невский, вошел во двор, поднялся на четвертый этаж. Пулей пролетел мимо удивленной матери, когда она открыла мне дверь, миновал коридор, но здесь совершил ошибку, которая, видимо, для меня характерна (сколько хороших возможностей упустил я по этой причине за шахматной доской!), — преждевременно решил, что достиг цели...

Один раз у тети Белы встретился я со своим дедушкой (отцом матери). Была осень 1917 года; из-за немецкого наступления в Прибалтике дедушка переехал в Петроград к своей старшей дочери.

Жил он в Креславке (ныне Краслава). На берегу Западной Двины (Даугавы) стоял деревянный домик. Первый этаж снимал лавочник, а на втором жил дедушка с семьей. Мама рассказывала, что, когда на побывку приезжал старший сын, все ночи они проводили за шахматной доской, но в какую силу играли — неизвестно!

Сидел я в маленькой столовой прямо против дедушки; тетя Бела сидела слева от меня. На столе было много вкусной еды, и я сгорал от нетерпения, но надо было ждать, когда дедушка (разумеется, на голове у него была ермолка) прочтет молитву.

Мама рассказывала, что дедушка приезжал в Питер и раньше, в 1915 году, также опасаясь наступления немцев. Говорила, что он посадил меня на колени, побеседовал со мной, а потом сказал: «О, этот мальчик будет ого-го...» Но этого я не помню...

Мама и выросла в этом домике на берегу Двины. По окончании школы сдала в Двинске (Даугавпилсе) экзамен на дантиста (зубной врач без высшего образования). Затем была в революцию 1905 года на 2 года выслана в административном порядке в Сибирь; она была членом РСДРП (меньшевиков).

После ссылки приехала в Петербург, работала зубным врачом в медпункте Обуховского завода. Заказывала протезы у одного зубного техника — вскоре они и отпраздновали свадьбу...

Мальчик я был сутулый, с впалой грудью, спортом не занимался.

Мама познакомила меня с высокой, стройной молодой дамой, — вероятно, одной из своих пациенток. Мне была подарена известная в те годы книжка Мюллера и прочитана маленькая лекция. По-

пробовал я жить по Мюллеру — понравилось; 60 лет делаю я по утрам зарядку. Слабосильный парнишка выпрямился и, как сейчас говорят, заметно «прибавил».

Увлекался я фотографией, котятами (еще цела фотография Бурзика — кота, которого я сфотографировал спящим), мать заставила посещать музыкальную школу. Осенью 1923 года я научился играть в шахматы, и все остальное отошло на задний план.

Доска была самодельной — квадратный лист фанеры с полями, раскрашенными чернилами, фигуры из пальмового дерева, тоненькие и неустойчивые. Одного белого слона не хватало, и на поле f1 стоял оловянный солдатик. Соображал я плохо и, хотя разрешали мне брать ходы назад, все время что-нибудь «зевал», в том числе и этого солдатика...

Конечно, увлекся шахматами я не случайно. Шахматы, как я не раз писал об этом, — типичная переборная задача, подобная тем задачам, которые людям приходится решать в своей повседневной жизни (переход улицы, судебное дело, оркестровка мелодий, управление предприятием и т.д.). То, что шахматы придуманы человеком, в то время как иные неточные

ситуации возникают как бы помимо воли людей, не имеет существенного значения с точки зрения методики решения. Важно то, что человеку для решения подобных неточных задач сначала необходимо ограничить проблему (иначе он в ней утонет), и лишь после этого появляется возможность для более точного решения. Поэтому ошибочно думать, что шахматы не отображают объективную реальность; они отображают мышление человека. На примере шахматной игры можно изучить тот метод ограничения неточных задач, которые использует человек в своей деятельности. Двести лет назад электротехник, философ и политик Бенджамин Франклин в своей работе «Мораль шахматной игры» писал: «Игра в шахматы — не просто праздное развлечение. Некоторые очень ценные качества ума, необходимые в человеческой жизни, требуются в этой игре и укрепляются настолько, что становятся привычкой, которая полезна во многих случаях жизни. Жизнь — своего рода игра в шахматы»...

Проницательности Франклина можно удивляться (в его работе есть ясный намек на цепочку, о которой речь будет в конце книги), тем более что некоторые великие люди после Франклина не всегда правильно оценивали то место, которое шахматы занимают в жизни человечества...

Думаю, что способность решать подобные задачи — ею в разной мере обладают все люди — передается по наследству, как музыкальный слух, физическая ловкость, память и прочее, но талант этот может проявиться, конечно, лишь в благоприятной среде. Вероятно, я имел определенное предрасположение к успешному решению переборных задач, и когда познакомился с шахматами, то в условиях советского общества и смог посвятить им значительную часть своих помыслов, сил и времени.

Шахматист может проявить свои способности лишь после того, как две стандартные операции (среди прочих) — передвижение

фигуры с любого поля доски на любое другое, а также размен фигур на каком-либо поле — будут совершаться бессознательно, автоматически. Поэтому сначала я и играл слабо. Казалось бы, что проще — передвинуть фигуру с одного поля доски на другое... Но ни один математик ранее даже не брался за решение этой постоянно повторяющейся в шахматной игре задачи. Считалось, что это проблема исключительной сложности. Человек же отработывает эту операцию как простую и стандартную!

У нас в квартире жил студент университета, и к нему заходил приятель — шахматист второй категории. Однажды состоялась моя встреча с второкатегорником, и я проиграл мгновенно.

— Может, сыграть с другим? — спросил мой партнер, указывая на брата.

Наш сосед только рукой махнул:

— Тот играет еще хуже...

Брат в жизни не чувствовал себя так легко, как я, в том смысле, что он труднее приспособивался. Так, гуманитарные предметы он не любил и не мог преодолеть этой неприязни; физика и математика давались ему без труда. Все любил делать сам: старый отцовский верстак был центром его

мастерской — она находилась в комнате, где мы с ним обитали. Беспорядок в комнате можно было лишь сравнить с увлеченностью Иси, но дело было сделано... Потом он создавал первую систему уличных светофоров в Ленинграде, а перед войной был уже начальником цеха спецустройств трамвайно-троллейбусного управления... В детстве мы с ним дрались, но, как часто бывает, потом подружились!

Сыграл я в чемпионате школы, но был где-то посредине турнирной таблицы. В то время начал выходить отдельными выпусками дебютный учебник Грекова и Ненарокова — я жадно все впитывал. Но сыграл испанскую партию (по книжке) с Витей Милютиним — он был лет на пять старше — и растерялся, как только Витя стал действовать не по Ненарокову. Все же в классе я был чемпионом. Ходил я играть к Лене Сегалу, однокласснику брата. Леня был с длинными кудрями (будущий архитектор), любил рассуждать о позиционной игре; я слушал его с удивлением и ничего не понимал. Видимо, у меня сначала отрабатывались понятия конкретные, а потом уже общего характера. Леня был из состоятельной семьи, и играли мы шахматными фигурами из слоновой кости, очень изящной работы. Позицию я не понимал, но Леню легко обыгрывал.

В ту пору в Советский Союз приезжал экс-чемпион мира Эммануил Ласкер. Он играл гастрольные партии с мастерами и давал сеансы одновременной игры. В Ленинграде сеанс проводился в здании губфинотдела. Я купил билетик и был в числе зрителей. Сеанс был трудным — один из участников, С. Готгильф, полтора года спустя играл на международном турнире в Москве, где выступал и сам Ласкер.

Ласкер держался с большой уверенностью, несмотря на свои 55 лет, — он разрешал участникам играть белыми, если они того желают. Играл он сильно, но очень медленно. После 15 ходов я ушел: было уже поздно.

Двинулся я вперед со следующего чемпионата школы. Проходил он зимой 1924 года; хотя в турнире играл «сам» Гриша Абрамович — он имел третью категорию и был членом Петроградского шахматного собрания, — я оказался победителем. Гриша стал моим первым покровителем, и в качестве гостя я вместе с ним изредка посещал шахматное собрание. Мать не на шутку встревожилась:

— Лучше бы ты стал художником, — убеждала она меня. — Надеешься, что Капабланкой будешь?

Тайком она поехала в школу, но заведующий школой Владимир Иванович Пархоменко меня защитил:

— Ваш сын — книжник, и оставьте его в покое...

1 июня 1924 года я стал членом собрания. Пришлось прибавить себе три года (требовалось 16 лет). Председатель правления (он же председатель и Всероссийского шахматного союза) С. Вайнштейн, конечно, догадывался о моей хитрости, но очки мне придавали солидный вид, и все было правдоподобно. В этом отношении я был не одинок — Сережа Каминер был лишь несколько старше. Только мы познакомились, он предложил сыграть

тренировочный матч — все три партии я проиграл. Летом 1924 года Сережа был мне не по плечу; впрочем, очень быстро я его обогнал.

Призванием Сережи было составление этюдов. Этюд отличается от практической игры. В партии шахматный мастер далеко не всегда досчитывает варианты до логического конца, а обрывает варианты, когда они доходят до предельной длины,— многое зависит от объема памяти и быстродействия нервной системы шахматиста. В этих случаях мастеру помогает общая оценка позиции.

В этюдах менее важна позиционная оценка и поэтому все варианты досчитываются почти до конца.

Когда Сережа играл в шахматы, он всегда искал этюд, которого не было, и терпел неудачи. Но через год-два он добился полного признания как композитор. Помню, как Сережа показывал свой этюд Леониду Ивановичу Куббелю, одному из величайших композиторов и проблемистов. Леонид Иванович долго пыхтел, но так и не решил этюда — с Куббелем это редко бывало. Когда Сережа показал решение, Леонид Иванович посмотрел на моего товарища с удивлением.

Деньги на членские взносы дала мама. Она же дала деньги на мой первый турнирный взнос — тогда все участники вносили по 3 рубля, из них и платили призы победителям. В первом же турнире я завоевал первый приз (18 рублей), получил третью категорию и стал независимым человеком.

И в следующем турнире я одержал очередную победу, но там у меня было неприятное происшествие. В турнире играл некто Фольга, художник по профессии, глухонемой. Мы с ним конкурировали, и, когда я попадал в трудные положения, Фольга не скрывал своей радости и знаками доводил об этом до моего сведения. Наконец и я дождался своей очереди — Фольга проигрывал решающую партию; конечно, я ему иронически выразил сочувствие. Мой конкурент сделал вид, что не понимает. Как же ему объяснить? Я схватил белого короля и положил на доску. Последствия были страшными. С. Вайнштейн вызвал меня, отчитал и предупредил о возможном исключении. В ответ я только дрожал и был отпущен с миром. Никогда в своей шахматной жизни я более не совершал чего-либо подобного.

Собрание помещалось во Владимирском игорном клубе (теперь там театр имени Ленсовета), и, чтобы попасть на третий этаж, надо было пройти все «злачные места», в том числе и большой бильярдный зал. Как-то с одного бильярда срезали сукно, и всех членов собрания выстроили — опознавали вора. Потом вор был найден на стороне.

Блиц (тогда этого немецкого термина не знали, а говорили по-итальянски — а темпо) в собрании процветал. Наблюдал я за игрой шахматистов первой категории Чебышева-Дмитриева и Готгильфа, они играли и бормотали: «пат проигрывает, король берется». Я не понимал значения этой загадочной фразы, пока Готгильф не сыграл 12—14, после чего черные ходом Сс5 : g1 уничтожили белого короля...

Но королем блица был юный Леня Шамаев. Продавал он вечернюю газету, а после работы приходил в собрание. Категории у него не было.

Узнав, что я получил вторую категорию, он пригласил меня к шахматному столику и под общий смех нещадно со мной расправился.

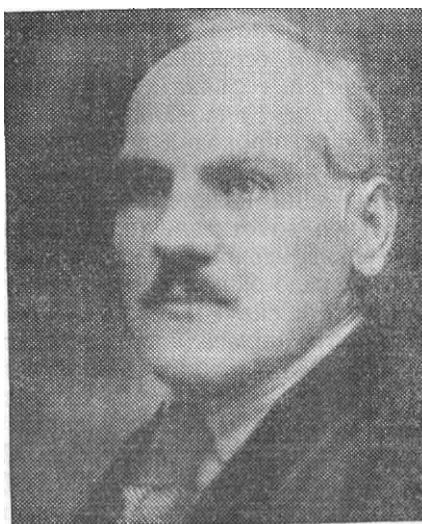
Спустя несколько месяцев у меня была уже первая категория. Шамаев пришел в новый клуб во Дворце труда. Увидел меня и вновь предложил сразиться. Но результат был таким, что больше Ленья ко мне не подходил.

Впоследствии Леонид Иванович Шамаев стал мастером, в 1938 году был чемпионом ВЦСПС и несколько десятилетий вел шахматную работу в Доме офицеров, что на углу Кировской и Литейного.

Блиц я почти не играл — считал, что для турнирных боев это бесполезно. Последний раз в жизни играл блиц в 1929 году в поезде Ленинград — Одесса, когда группа шахматистов направлялась на чемпионат СССР, — сыграл успешно.

Возвращался с игры я поздно, голодный и жадно уничтожал бутерброды, запивая стаканом молока, — мать из года в год заботливо оставляла стандартный ужин, — а потом... садился анализировать сыгранную партию! В азарте начинал стучать фигурами, мама просыпалась, стыдила меня, и оставалось лишь идти на боковую.

Наступили в шахматном мире иные времена. Малочисленный Всероссийский шахматный союз был ликвидирован, была создана массовая шахматная организация, опиравшаяся на профсоюзы и советы физкультуры, во главе с Николаем Васильевичем Крыленко. Ликвидировали и шахматное собрание в Ленинграде; вскоре открылся отличный шахматный клуб во Дворце труда, — руководителем его был молоденький Я. Г. Рохлин.



Н. В. Крыленко

Н. В. Крыленко (известный партийный и государственный деятель, соратник Ленина) страстно любил шахматы. Играл по переписке, участвовал в командных соревнованиях, выступал на собраниях шахматистов, писал статьи, редактировал шахматные издания, трогательно заботился о шахматных мастерах, но не прощал зазнайства и пренебрежения общественными интересами. Это был человек на редкость принципиальный (тогда он был заместителем наркома юстиции), интересы советского народа

были для него превыше всего. Людей, как говорится, видел насквозь — его обмануть было трудно. Придя к руководству шахматной организации, он совершил своего рода революцию в советской шахматной жизни. Шахматы стали доступны всем трудящимся, в том числе и безусым юнцам. Появились шахматные книги и журналы, самые массовые организации — профсоюзы стали уделять шахматам большое внимание. На предприятиях, в школах, воинских частях — повсюду возникли шахматные кружки. И советы физкультуры, и профсоюзы выделяли необходимые средства для развития шахмат — ничего подобного ранее не было!

Николай Васильевич решил проверить силу советских мастеров. Отчасти с этой целью он организовал в 1925 году первый Московский международный турнир; другая цель турнира — сделать шахматы еще более популярными. До этого турнира лишь один раз советский мастер встречался с иностранными корифеями — И. Рабинович завоевал 7-й приз в Баден-Бадене. Это расценивалось как большой успех. И когда весной 1925 года И. Рабинович появился в шахматном клубе во Дворце труда, где происходил чемпионат Ленинграда, мастера встретили аплодисментами... Но этот эпизодический успех не мог удовлетворить Н. В. Крыленко.

В московском турнире в основном играли те иностранцы, что участвовали в знаменитом турнире в Нью-Йорке 1924 года (кроме Алехина — он тогда был недружелюбен к Советскому Союзу, и это недружелюбие было взаимным). Чемпион мира Капабланка, экс-чемпион Эм. Ласкер, Рубинштейн, Маршалл, Рети, Тартаковер, Торре и другие представляли зарубежный шахматный мир. Турнир

вызвал первую волну увлечения шахматами среди советских людей и, что особенно важно, среди школьников. Была поистине «шахматная горячка», и под таким названием вскоре вышел фильм с участием Капабланки.

Турнир проходил в здании, где сейчас гостиница «Метрополь». Играли в большом зале нынешнего ресторана. Теперь подобная организация кажется более чем скромной, но тогда... Зал был заполнен до отказа, толпы восторженных любителей «дежурили» на улице, дожидаясь свежих турнирных новостей. Мне было 14 лет, надо было ходить в школу, и никто не собирался посылать меня в Москву! Приходилось изучать партии по газетам.

Многие полагали, что победит в соревновании Капабланка или Ласкер. Но Капабланка проиграл две партии (Ильину-Женевскому и — на следующий день после тяжелого сеанса в Ленинграде — Берлинскому); Ласкер потерпел одно поражение (от Левенфиша). Победителем стал Боголюбов. Следующий советский шахматист, Романовский, опять был лишь седьмым. Боголюбов в те годы имел советский паспорт, хотя и жил в Германии, где обзавелся семьей. Год спустя Боголюбов отказался от советского гражданства, и это нанесло большой ущерб советским шахматам. Стало ясно, что мастера дореволюционного поколения (Романовский, Левенфиш, И. Рабинович, Дуз-Хотимирский, Берлинский), несмотря на их талант, не могут противостоять сильнейшим шахматистам Запада. Крыленко

решил, что надо ждать, пока не окрепнет молодое поколение советских мастеров.

В формировании нового советского поколения молодых мастеров турнир 1925 года сыграл важнейшую роль. Домов пионеров еще не было, но шахматные кружки возникли во многих школах; школьники-шахматисты принимали активное участие в командных соревнованиях профсоюзов.

В дни Московского международного турнира меня как-то позвали к телефону — звонил Рохлин:

— Завтра вы играете в сеансе против Капабланки. Есть ли какие-либо пожелания?

— Можно ли мне получить пропуск на сеанс для брата?

— Для брата? Может быть, еще для кого-нибудь? Может, вам нужно несколько пропусков?

— Да, если можно.

— Нельзя. Будьте довольны, что сами играете...

В ноябре 1925 года я уже слыл одним из сильнейших перво-категорников Ленинграда, и никакой особой чести мне оказано не было. Но мама была довольна, купила мне новенькую коричневую косоворотку, и я отправился на сеанс в малый зал филармонии (потом там был буфет для зрителей). Зал был набит битком: на турнире в Москве был выходной день, и Рохлин уговорил Капабланку приехать в Ленинград дать сеанс. Все и стремились поглазеть на чемпиона мира, самого Хосе-Рауля Капабланку. Еле протискиваюсь к своему месту. На моем стуле сидят уже двое зрителей, пришлось устраиваться третьим! Конечно, оба «советчика»

мешали мне в меру своих сил, но характер у меня был твердый — играл сам. Один из старейших шахматистов Ленинграда, профессор А. А. Смирнов (кстати, он в 1912 году был чемпионом Парижа по шахматам), приветствует чемпиона мира на его родном испанском языке. Капабланка хмурится — то ли приветствие затянулось, то ли он остался недоволен произношением оратора, но наконец сеанс начался. В ферзевом гамбите Капабланка неосторожно рокировал в длинную сторону, попал под атаку, вынужден был отдать пешку (чтобы перейти в эндшпиль), но я четко реализовал материальный перевес (№ 7). Капабланка смешал фигуры.

Впоследствии мне пришлось услышать, что Капабланка с похвалой отозвался о моей игре. Но выражение лица чемпиона мира в момент окончания партии было не из приятных...

Ухожу из зала и в фойе встречаю одноклассницу Веру Денисову — в большом зале шел толстовский вечер (15 лет со дня смерти Льва Николаевича). Вера была потрясена моим успехом.

На следующий день я на радостях проспал и опоздал на первый урок. Ребята увидели меня через стеклянную дверь и попытались поднять шум, но у Шайтана не расшумишься (был урок истории). Звонок — и все кинулись ко мне. Понял, что дело плохо, и пытался бежать, но в зале преследователи меня настигли и начали качать (несколько лет назад моя одноклассница Соня Рогинская напомнила, что при этом я не сопротивлялся и лишь старательно

прижимал очки к носу). Спас меня Михаил Эммануилович — ему удалось сохранить серьезный вид. Девочки шептались в стороне; потом я узнал — они решили, что во мне что-то есть.

Но вздыхал я по Мурке Орловой — сестре моего товарища Шурки, того самого, который считал, что ворона может быть интеллигентной. Девушка была способная, кокетливая, с томными голубыми глазами.

— Ничего у тебя не выйдет,— сказал Димка Зайцев.— Мурка с тобой целоваться не будет... Ты еврей.

Я был ошарашен не столько тем, что Мурка не будет целоваться, сколько тем, почему она не будет... При рождении отец дал мне русское имя. «Живет в России,— сказал он матери,— пусть чувствует себя русским». Отец запретил дома говорить на жаргоне, вторая его жена была русская. И вот — сила предрассудков.

Несколько лет спустя на квартире у Веры Денисовой встретился наш класс. Мурка явно была уже не согласна с Димкой Зайцевым, но — что делать? — от детского чувства ничего не осталось. Да и Димкино мнение, наверно, изменилось со временем... Был он волевым спортсменом. Однажды победил на лыжных гонках нашего класса на Неве (в те годы Нева замерзала надежно). Мечтал быть военным и добился своего — окончил Военно-инженерную академию. Сражался на Карельском перешейке в финскую войну, в Отечественную — под Сталинградом и на Брянском фронте. После войны вернулся в академию, защитил диссертацию и был начальником кафедры — вот тебе и Димка!

Дружил я в школе с жизнерадостным Шурой Фомичевым. Отец его преподавал в Лесотехнической академии. Жили они в парке в Лесном, занимали верхний этаж двухэтажного деревянного домика. Шурка пытался меня учить ходить на лыжах, но безуспешно; сам же на них танцевал. Провожая меня до трамвая, брал детские санки и, когда дорога шла круто вниз, ложился на санки, сажал меня верхом и трогал. «Аы, аы!..» — завывал Шурка сиреной, и прохожие испуганно шарахались от стремительно мчавшихся саней...

Наступил 1926 год. Чтобы попасть в финал чемпионата города, надо обязательно занять первое место в своей полуфинальной группе. И я, и сильный первокатегорник Шебаршин выигрывали все партии. Но вот выигрышную партию с Лаврентьевым свожу вничью. Остается последняя надежда — обыграть Шебаршина. Наша партия (№ 8) продолжалась в общей сложности около 11 часов. В итоге мне удалось ее выиграть.

Второй раз партия была отложена в выигранном ладейном конце, и мой партнер решил использовать последний шанс: окольным путем он сообщил, что если партия кончится вничью, то в финал мы будем приглашены оба. А вдруг 14-летний малец поверит? Я не поверил!

Финал был в июне. На старте я набрал 5 из 5! Потом дела пошли хуже, но все же удалось поделить 2—3-е места с И. Рабиновичем. Я завоевал себе место на городском шахматном Олимпе.

Играли мы в Центральном доме физкультуры на Мойке. Ходил на игру пешком, через Марсово поле. Дома выпивал стакан молока, и после прогулки голова была ясной, настроение отличным.

Именно тогда впервые я почувствовал себя уверенно за шахматной доской, почувствовал свою силу. Пожалуй, это произошло во время партии с Рохлиным (№ 9). Попал я в тяжелое положение, но ловко выкрутился и отложил партию с небольшим позиционным перевесом. При доигрывании выяснилось, что я и позицию лучше понимаю и варианты считаю точнее, — партнер «поплыл» и быстро проиграл.

Осенью 1926 года родители заволновались. Рохлин позвонил отцу и сообщил, что я должен играть на 5-й доске в командном матче Ленинград — Стокгольм, надо ехать в Швецию. Опять мама помчалась к заведующему школой, на сей раз к Сергею Ивановичу Тхоржевскому. Сергей Иванович был нашим классным воспитателем и преподавал историю. Это был очень серьезный, доброжелательный и умный человек — внешнеюстью он чем-то походил на деятелей Великой французской революции. Кстати, историю революционного движения он знал превосходно.

— Чтобы в таком возрасте увидеть свет, — сказал он матери, — можно пропустить школу в течение десяти дней.

Итак, я еду в Стокгольм, отец дал денег на покупки. Едем поездом до Гельсингфорса (Хельсинки), там даем сеансы. Я приобретаю европейский вид, мне покупают костюм, шляпу «Борсалино» и роговые очки. Затем — поездом до Або (Турку) и пароходом в Стокгольм. На пароходе после обеда нас выстраивают для опознания — какой-то русский не заплатил в ресторане. Потом его находят — оказывается, один белоэмигрант решил устроить провокацию.

Матч в Стокгольме протекал очень напряженно, но с минимальным перевесом побеждает команда Ленинграда. Мне удалось набрать IV, очка из 2 против Штольца (будущего гроссмейстера). На банкете всем наливают по одному бокалу вина (сухой закон). Один из шведов долго не решается ко мне обратиться, но в итоге выпивает и мой бокал...

На следующий день идем тратить деньги — дело простое. Вечером в номере, где живем мы с Ильиным-Женевским, собирается многочисленная компания. Есть хочется, а на ресторан денег уже нет. Собираем мелочь, и добровольцы идут за хлебом и сыром. Набиваем рты. Стук в дверь, и появляется Людвиг Кольин, президент Шведского шахматного союза. Он в смущении останавливается, но делает вид, что все в порядке.

— Как вам понравился Стокгольм?

— Прекрасный город, — отвечает Ильин-Женевский; он уже успел проглотить свой бутерброд.

Обратный путь через Ботнический залив был труден. Качка была столь сильна, что многие страдали морской болезнью. Я очень ослабел и, когда мы приехали в Гельсингфорс, все еще нетвердо стоял на ногах.

С Ильиным-Женевским мы подружились, вместе жили и в Гельсингфорсе. С изумлением я наблюдал, как Александр Федорович

разделся и стал обматывать себя дамскими чулками — выполнял заказ жены (в те годы хороших чулок отечественного производства не было), а мужчинам дамские вещи провозить было запрещено таможней. Несмотря на протесты, ту же процедуру он совершил и со мной. Белоостров (тогда там была граница) мы проследовали благополучно. Угрызений совести я не испытывал — приятно было помочь новому другу!

Наконец Ленинград. Вечером вместе с братом идем к отцу, несем в чемодане для него костюм. Дворник в подворотне хватает меня за руку, я смотрю на него с изумлением.

— Тьфу, - сплевывает он.— Не узнал.

Еще бы, раньше в шляпе (да еще роговые очки!) он меня не видел.

В большом зале собирается вся школа. Зав. школой Сергей Иванович председательствует, я делаю отчет о поездке. Но когда дело дошло до обратного рейса на пароходе, я чересчур красочно и обстоятельно стал описывать морскую качку и все ее последствия. Поднялся хохот.

— Миша! - умоляюще сказал Сергей Иванович.— Хватит...

Но я был неумолим, продолжал рассказывать о своих морских впечатлениях.

На первом же уроке химии преподаватель Боровицкий вызывает меня. Я, конечно, ничего не знаю — в итоге «неуд». Это был мой единственный «неуд» за всю школу. Учились тогда без экзаменов,

за высокими оценками не гонялись, так что особых волнений не было. Высшей оценкой было «хорошо»; я учился на «вполне удовлетворительно». Думаю, что этот стиль школы — требовались знания, а не отметки — повлиял на мое поведение в шахматах. Я не гонялся за очками, а смотрел в корень: как я играю, насколько глубоко я понимаю шахматы?

Пионерской организации в школе не было, но комсомольская — очень малочисленная — была. В школе я активно участвовал в общественной жизни — был председателем школьного ученического совета (ШУСа). В 9 лет я начал читать газеты и стал убежденным коммунистом. Стать комсомольцем было трудно — школьников почти не принимали. Я долго этого добивался (брат уже был комсомольцем) и наконец в декабре 1926 года стал кандидатом в члены комсомола. В райкоме со мной беседовал некто Кузьмин (его братишка учился в нашей школе), один из основателей комсомольской организации Выборгского района.

Еще в Стокгольме мне заказали примечания к двум партиям матча Ленинград — Стокгольм; они были опубликованы в журнале «Шахматный листок». С этого начался мой путь шахматного аналитика. Привычка анализировать объективно — когда анализ публикуется, иначе и действовать опасно, ибо опозориться можно — весьма важна для совершенствования шахматиста. Несомненно, это и содействовало моим успехам в ближайшие годы.